

IN MEMORIAM

Vladimir Markov (1920 – 2012)

Михаил Ефимов
Марков 1-ый

Кончина Владимира Маркова в возрасте 92 лет ставит вполне отчетливый предел: ушел самый значительный филолог «второй волны» русской эмиграции. Долгая болезнь, предшествовавшая смерти, лишь усугубляет факт смерти, о которой трудно говорить бесстрастно.

Марков не был в каком бы то ни было смысле «голосом своего поколения», «оправданием „второй волны“» или чем-либо подобным. Скорее, наоборот: несмотря на вполне понятную принадлежность ко «второй волне», Марков в ней чувствовал себя если не чужим, то находящимся в стороне. При всем своем исследовательском «аппетите» и склонности к многообразным «интервьюирующим» знакомствам, Марков существовал «на отшибе» (в его письмах часто повторяется один и тот же мотив — оторванности в Калифорнии от живого интеллектуального общения).

Тут нужно отметить одно принципиально-важное обстоятельство. «Калифорнийский отшельник», Марков стал учителем и наставником многих замечательных славистов. В этом смысле ни о каком интеллектуальном одиночестве говорить не приходится. Опубликованные работы Маркова прочно обеспечивают ему почетное место в истории русской филологии. Есть, впрочем, сюжеты, обойти которые, говоря о Маркове, едва ли возможно — пусть и «в конце абзаца».

© Mikhail Efimov, 2013

© TSQ 43. Winter 2013 (<http://www.utoronto.ca/tsq/>)

Один из них — это отношение к Маркову «столпов» первой эмиграции. В 1950-х годах «столпы» признавали в Маркове обещающего поэта, толкового редактора (антология «Приглушенные голоса»), небезынтересного критика, но всё это — с оговорками, словно нехотя и под давлением. Уклончивость Адамовича в оценках Маркова и адамовическое — по временам плохо скрываемое — раздражение выдают, кажется, элементарное опасение первого критика русской эмиграции получить в лице Маркова опасного конкурента.

Одно из самых известных и характерных столкновений с «первой волной» было вызвано публикацией в 1956 г. в 6-ой книге «Опытов» марковских «Заметок на полях». В них, среди прочего, были две с половиной строчки вызвавшие настоящий скандал (что, глядя из дня сегодняшнего, может показаться странным): «Глава о Чернышевском в „Даре“ Набокова — роскошь! Пусть это несправедливо, но все ведь заждались хорошей оплеухи „общественной“ России». После этой публикации, собственно, «хорошую оплеуху» получила не «общественная» Россия, а сам Марков. Марков был вынужден оправдываться, извиняться, объяснять свой «выпад» молодостью, неопытностью и чуть ли не дурными манерами, от которых обещал в будущем избавиться. «Столпы общественности» (в первую очередь — Вишняк) жаловались на Маркова Глебу Струве, многолетнему академическому опекуну Маркова. Парижская эмиграция устраивала какие-то подобию «общественных судов» (заочных) над Марковым, клеймя его как варвара и хулигана.

История эта показательна. Марковский подход «роскошь, пусть и несправедливо» оказался неприемлем для той самой «первой волны», которая десятилетиями провозглашала духовную свободу как главное достояние эмиграции. На практике, как известно, вместо духовной свободы царил традиционная российско-интеллигентская кружковщина, а «идеологические» споры слишком часто заканчивались личными оскорблениями. Марков ждал от эмиграции — как реальности — того, что сам эмигрантский истеблишмент — вольно или невольно — истреблял с чувством моральной правоты. (Харак-

терно, что даже деликатный и не-«идеологичный» Кленовский и тот пытался обратить Маркова в свою веру — не политическую, а антропософскую.)

За Марковым закреплялась репутация эстета, пижона, нарочитого парадоксалиста, неглубокого любителя «сложного». Марков создавал живую и непрерывную историю русской литературы, потому и его занятия Хлебниковым и футуристами естественно вытекали из этого подхода, а не были, как могло казаться русским эмигрантам полвека с лишним назад, ненужным эпатажем.

Марков не повторял канонизированных критиков, и даже занимаясь «генералами» умел увидеть их не-«генеральскую» сторону. Свое субъективное восприятие он всегда черпал в тексте, а не в «критических откликах» (и тем менее — в модных теориях), потому и его субъективность часто шокировала как едва допустимое «остранение» (оттого так удачны и неожиданны его частые параллели с европейской и американской литературами).

Начав как поэт, Марков обратился к филологии, попутно активно занимаясь литературной критикой и эссеистикой. Марков в полной мере подтвердил свое же определение вкуса как «способности распознавать прекрасное в любом его проявлении». Эссе о Ремизове 1986 г. он закончил замечательной формулой: «...вкус — не только в правильности выбора, но и в широте этого выбора. Надо уметь ценить и Баратынского, и Бенедиктова, и „блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой“».

Эммануил Райс в письмах к Маркову настойчиво повторял: «станьте вторым Мирским, станьте продолжением Мирского, Вам это по силам, Вам — единственному». Помимо райсовской эмоциональной эмфазы, в этом есть много справедливого. Если Маркова и можно с кем-то сравнить из предшественников, то наименьшей натяжкой будет сравнение с Мирским. Показательно, что и Мирский, и Марков одни из самых значительных своих высказываний о русской поэзии разместили в примечаниях к собранным ими антологиям: Мирский — в «Русской лирике», Марков — в «Centifolia Russica. Упражнение в отборе». Для Маркова, как и для Мир-

ского, всегда было подлинной радостью обнаружение сокровищ, сосланных в третьи и четвертые ряды русской литературы. И, конечно, писательская свобода Маркова сродни Мирскому, потому его эссеистика полувековой давности ничуть не потускнела.

Еще несколько слов о Маркове-эссеисте. Любой, читавший Маркова, знает о той музыкальной стихии, которая — явно или скрыто — присутствует в его эссе. Марков был подлинно-музыкален, не будучи музыкантом. Его высказывания о музыке не банальны и точны. Трудно забыть его слова о пушкинском «взмывании» в «Зачем крутится ветер в овраге»: «Такое взмывание в музыке можно встретить, пожалуй, только под конец штраусовского „Дон-Жуана“, да и то лишь в исполнении Тосканини; так, по-видимому, святые отделялись от земли» («О свободе в поэзии», 1961). Марковский «Моцарт» (1956) не покажется дилетантским и профессионалу-музыковеду (по крайней мере — российскому), а сравнение этого эссе со статьей Адамовича о Моцарте (того же времени) обнаруживает совершенную беспомощность критика, искавшего «музыки прежде всего», на фоне «эксцентрического» Маркова. (Адамовичу эссе Маркова покоя не давало: в частной переписке он отзывался о нем озлобленно.)

В современной России Маркова печатали, хотя и не слишком часто и систематично. Эти перепечатки (и перевод «Истории русского футуризма»), сопровождаемые комплиментами, не сделали, однако, Маркова «своим» в метрополии (быть может, и сам Марков был уже слишком стар для этого). Он так и остался «интересным эмигрантом с архивом», не став актуальным филологически. В России до сего дня не переведены и не изданы его комментарии к Кузмину и Бальмонту, монография об имажинизме, десятки статей. Многодесятилетняя переписка Маркова с Г. П. Струве (обещающая статья, сколько можно судить, событием в истории русской литературы XX в.) уже не первый год не может найти в России издателя.

Марков, всю жизнь изучавший и комментировавший русских поэтов, казалось, сознательно выбрал для себя положение умного помощника, всегдашнего «второго». Когда же кни-

ги, статьи, эссе и письма Маркова будут, надеемся, собраны, переведены и изданы на его родине, станет вполне ясно, что он не был «вторым». Он был — Марков 1-ый.